

У искусства (если оно, конечно, ничем в спешке не заменено) всегда есть своя логика. Порой занятая, ироническая, даже капризная — особенно в таком сложном мире, как телепрограмма.

Вот на нашу неделю попали только отблески искрометного (можно так сказать? Ведь если «искрометное», то почему отблескам и не упасть на следующую неделю?) «Мамуре» Елены Николаевны Гоголевой.

С самого начала смешно — даже чуть раньше.

классику. Русскую и советскую, но именно классику.

Все было здесь не вполне «как принято». Сначала нам показали Кропоткинскую, львов на воротах особняка, отданного в 20-х московским ученым, вспомнили первого руководителя — Марию Федоровну Андрееву, уже саму ставшую легендарной...

И золотая лепнина московского особняка вдруг послушно включилась в то главное, что происходило на сцене. Елена Нико-

вение увидели то, что называем пушкинской светлой печалью.

А потом был Лермонтов. Е. Н. Гоголева сама призналась, что это любимый ее поэт. И прочла «Я не унижусь пред тобою...».

Настала, в сущности, иная эпоха — романтизм. Он был во всем — и в героической непомерности требований героя, и в речи его любви. И даже в том, что «мужские» стихи исполнила женщина.

Они звучали поэтому чуть отстраненно (не «от себя» же, в самом деле). И актрису волновал не только вопрос, заданный когда-то огорченным юношей — можно ли уважать женщин, если ему изменил ангел? — но и ничуть не меньше сама музыка стиха, прекрасное воплощение человеческих чувств. Да, была боль, была горечь, но поглядите, как они «сняты», как прекрасно то, чем они стали — замечательное искусство...

А может быть, просто она услышала в этом, одном из самых «злых» стихов и без того резкого Лермонтова — все-таки больше любви, чем «злости», и какое-то тайное благословение среди гневных проклятий? Все может быть...

Вот в этом же ключе и начался отрывок из «Мицыри». Там, среди многого, специфически «мужского» — побег, битва с барсом, мечта о подвигах и подвиг на самом деле (даже рифмы, которыми написана эта поэма, сплошь мужские) — актриса вдруг выделила и показала жест грузинки, несущей кувшин.

Это был мгновенный «крупный план», и теперь все неуловимо сменилось. Образы Лермонтова-романтика — предельно, очень яркие. «Сырая кость», которую гложет барс. Ночь, глядящая (в лесу) миллионом черных глаз. И «в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть мое оружие...».

Этот вот жест, в истоках своих, видимо, совсем не изящный, был обозначен как-то почти фехтовальной грацией. «Простота» чтения в данном случае оказывалась явно обманчивой. Требовался большой такт и очень точное чувство поэзии, чтобы не увлечься самими этими «предельными» красками, не дать никакому нажиму про-

рвать ткань стиха. И тогда перед нами стало вставать целое лермонтовской поэзии, мощный и в то же время сдержанный поток его рассказа. Не «неслужащий монах», сбежавший из монастыря и заблудившийся в лесу на подступах к далеким и родным горам, стал занимать нас, а великий поэт, рвущийся к свободе и тайно от себя уже знающий ее недостижимость.

В заключение был Горький. Старуха Изергиль, Данко.

Это особая проза. Для раннего романтизма, начиная с «Цыган» или «Кавказского пленника», видимо, считались достаточными — дальний, неизученный край, люди, еще не стертые цивилизацией, их страсти. Но Горькому этого как-будто мало. Он в начале своего творчества как-будто исповедует некий «романтизм в квадрате» — очень распространенный у него прием.

И тогда старый Макар Чудра (цыган, которого еще можно встретить где-то в южных степях, недалеко, в сущности, от «Степи» Чехова) рассказывает о Радде и Лойко, которых уже не встретишь. Вот так и старуха Изергиль говорит о Данко.

«Красивые всегда смелые» — эти слова Е. Н. Гоголева произносит с какой-то отчаянной улыбкой, как бы прося нас не прислушиваться к бытовому правдоподобию фразы. Ну и что ж, что вы встречали какого-то, симпатичного на первый взгляд, труса и обывателя? Значит, плохо смотрели. А уж с тем, что смелые красивые, вы спорить, надеюсь, не станете?

...Это был очень недолгий «урок». Но он запомнился. Мы ведь вообще, к счастью, впечатлительны и влияниям поддаемся. Выходя из театра после Шекспира, еще некоторые время ловим себя на пяти-стопном ямбе. В метро сейчас очень многие углубились в судьбы Кати, Даши, Рошина, Телегина, видимо, библиотеки на этой полке опустели, ведь не зря же сейчас продолжается на наших экранах «Хождение по мукам».

И вот мне кажется, что после вечера поэзии, прочитанной Еленой Николаевной Гоголевой, многие шли по улицам выпрямившись, приподняв подбородки, и глаза их чуть блестели.

По теленеделе дежурил Александр АРОНОВ.



ЧАС

ГОГОЛЕВОЙ

Что, собственно, играть актрисе в почтенном возрасте, если мастерство живо? Есть здесь проблемы? Елена Николаевна сама потом посмеивалась, что испытала известные возрастные трудности. Да и как иначе, если героине — далеко за сто лет?

Как мы помним, «сложности» добропорядочного окружения героини оказались связаны не со старостью ее, а как раз с молодостью. Там была и большая свобода от предрассудков (почти «лихость»), и самое главное — огромное душевное здоровье. Актриса поставила себе целью очаровать нас своей героиней, добилась этого, а сверх того мы испытали еще и зависть. И, кажется, что-то чуть лучше поняли о жизни, веселом мужестве — и о таланте, конечно.

Но — это, увы, «не наше дело». Нам была суждена другая программа, а расставаться с веселым и радостным искусством актрисы-юбиляра все-таки как-то не хотелось.

И вдруг мы увидели «Театр одного актера», сорок пять минут, в сущности, урок, — академический час, в котором Е. Н. Гоголева читала нам

лаевна начала программу с пушкинского стихотворения «Рассудок и любовь».

Это — ранний Пушкин, где действуют пастушки (с ударением на последнем слоге) и пастушки (с ударением на предпоследнем). Эстетика восходила к веку XVIII, к эlegantной и, естественно, чуть фривольной великосветской пасторали. Но в Пушкине мы слышим не просто послушного ученика французских ветренников — сквозь все пробивается его собственная молодость, победительный гуманизм, разрушение догм — ну, приблизительно, как в «Мамуре». И актриса была здесь лукавой, не случайно она только что рассказывала о своей молодости, а вот теперь — о пушкинской.

Новая краска — «Цветок». Быстрые, нетерпеливые вопросы поэта: «Где цвел? Когда? Какой весной? И долго ли цвел? И сорван кем?» — это уже не шуточная пастораль, а полная искренней лирики печальная элегия. «Вновь я посетил...» хочется здесь вспомнить или «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». Интонации актрисы стали проще, серьезнее, и мы в мгно-